

ВЕРНЫЙ ВЕРНОМУ



АЙГУЛЬ НЛИНОВСКАЯ
Живет в городе Алма-Ате,
Казахстан.
Член Совета писатель-
ского сообщества USW
и продюсерского центра

ЮОВА (Казахстан), редактор
и корректор с опытом работы
в литературном агент-
стве «Пиши нан художник»
(Россия), редактор теле-
грам-канала «Будь автором».

Училась писательскому
мастерству у Майи Нучер-
ской, Марины Степновой
и Александра Прокоповича.
Состоит в писательском
сообществе «Будь автором».

В деревянном доме на пересечении улиц Киргизской и Мещанской умирал человек. Через запахнутые ставни заглядывал поздний май, гладил лицо солнечными лучами. Со двора доносились голоса, там прогоняли чужого осла, который надрывно ревел и не желал уходить. Видно, его привлекал сад, но дувал, построенный вокруг дома как раз от таких непрошенных гостей, не позволяя пройти. Все верно, урожай достанется детскому приюту, что неподалеку. Тягучий ослиный крик вскоре стих: то ли угостили чем-то, то ли прогнали.

Кто-то вошел в комнату. Легкие шаги по направлению к кровати, половицы даже не скрипнули. Тень заслонила подсвечивающее сквозь веки солнце.

– Не умирай, – попросил знакомый голос. Ахмет. Из местных. Помощник и давний друг.

Эдуард лежал на кровати. Сил доставало только на то, чтобы ловить обрывки воспоминаний да успевать додумывать мысли, которые обращались в пыль так же быстро, как хлопья пепла на пальцах. Славный путь пройден, славный. Рукой он ощупывал бревенчатую стену, ее шероховатость будто держала ускользавшую из него жизнь. Теплое дерево. Ель Шренка. Как удивительно переплетаются судьбы пытливых и охочих до знаний людей.

Его отец родился в старинном городе Дерпте, которому в период правления Александра III вернули ненадолго прежнее название Юрьев, а два года назад переименовали уже в Тарту. Улыбка царпнула сухие губы: даже на пороге смерти он помнил такие подробности. Там же, в Дерпте, окончил университет и Александр Шренк, который по заданию Императорского ботанического сада приезжал сюда в экспедицию и увез образцы по ботанике, зоологии, минералогии. В честь него и назвали ель-красавицу, полную силы и жизни.

Брат Оттон тоже окончил Дерптский университет, только физико-математический факультет, а не философский, как Шренк, и отправился сюда, в край семи рек.

Рядом раздалось покашливание. Ахмет не покинул его, замер на стуле подле кровати. Остался ждать последнего слова. А может, последнего вдоха.

Бревна стены согревали ладонь, тепло осязаемо разливалось дальше по руке и достигало стучавшего с переборами сердца. Эдуард с закрытыми глазами видел золотистое свечение, тонкой нитью проникающее в него. Каждый росток, каждый лепесток, каждая хвоинка обладали таким свойством.

«От судьбы не уйдешь, – говаривал отец, когда Оттон стал главным садовником Казенного сада

в Верном. – Что означает наша фамилия?» Сестры тотчас кричали хором: «Дерево!» Так что старший брат, физик и математик, все равно пришел к тому, что написано на роду всем Баумам.

Когда настал черед Эдуарда покинуть отчий дом, стоял холодный, дождливый октябрь. Матушка провожала в дорогу со слезами, добавляя природе сырости, шептала молитву, чтобы уберечь в долгом путешествии: «Господь да будет впереди тебя, чтобы указать верный путь». Пять родных сестер и две приемные облепили со всех сторон, как будто он отправлялся в ссылку. Отца больше заботила телега с саженцами и семенами. Он ходил во круг и проверял, надежно ли они укрыты дерюгой.

Мысли перескочили на отцовскую книгу. Эдуард тогда еще учился в Санкт-Петербургском земледельческом институте, письмам из Пензы радовался, как дитя, тосковал. Домочадцы сообщали, что глава семейства Баум подолгу сживал над рукописью. Писал он новомодным стальным пером, которому гусиное и в подметки не годилось. С наступлением сумерек отец, будучи во власти вдохновения, распоряжался по поводу лампы. Заправленную керосином «летучую мышь» держали наготове и несли по первому требованию.

– Ахмет...

– Доктора позвать? – Тот снова заслонил собой майское солнце.

– Нет. Подай отцовскую брошюру.

Четыре шага до шкафа, четыре шага обратно, и Ахмет вложил книгу в его руку.

– Благодарю.

Много раз прочитанное предисловие он помнил наизусть: «В августе месяце 1870 года исполнится 50 лет со времени основания Пензенского Училища Садоводства. Ввиду юбилея этого учебного заведения Департамент земледелия и сельской промышленности, с разрешения г. Министра государственных имуществ и сельской промышленности генерал-адъютанта А. А. Зеленаго, еще в минувшем 1869 году поручил заведывающему Пензенским училищем садоводства, коллежскому советнику Бауму, заняться составлением исторического обзора действия упомянутого училища для напечатания особою брошюрою». Он нащупал торчавший из книги уголок бумаги. «Да благословит тебя милосердный Бог», – добавляла матушка в конце каждого письма. Одно из них он и заложил меж страниц. Теперь на смертном одре оба родителя были рядом.

Отец отдал училищу садоводства двадцать лет и оттого со всем тщанием описал в книге

и устройство заведения, и характер, и идеи. Отдельной главой поведал о пчеловодстве, считая его побочной, но выгоднейшей стороной сельского хозяйства. С шелководством, увы, было сложнее, отмечал отец в своем обзоре. Из-за позднего открытия весны и суровости климата тутовое дерево в Пензенской губернии приживалось трудно и никогда не отличалось высоким ростом, отсюда недостаток корма для шелколичных червей.

Как отец радовался вести, что Оттон не только устроил в Казенном саду плантацию шелколиц, но еще и ратовал за продажу саженцев окрестным жителям. В Верном легче распространялось шелководство, здешний климат – не чета пензенскому – этому благоприятствовал. «В Казенном саду сейчас, по моим личным подсчетам, две с половиной тысячи трехлетних деревьев шелколицы, еще пару тысяч из Ташкента высадим настоящей весной», – писал Оттон в марте 1874 года в Пензу.

Спустя год в октябре к нему прибыл Эдуард. Долгим был путь сюда. Сюда, где прошла жизнь и уже заглядывала в лицо смерть. А тогда его, двадцатипятилетнего, заморозили и привольная киргизская степь, и такая же привольная песнь возницы, которую тот выводил всю дорогу. Эдуард не понимал ни слова, но чудилось, что смысл ему открывался. Пел старик о том, что видел: о понурых лошадях, о скрипе усталой подводы и даже о нем, Эдуарде, который постоянно оглядывался, не сползла ли дерюга с драгоценных саженцев. Иначе брат с отцом ему бы не простили.

Осенняя распутица расхлябила дорогу, и на самом въезде в Верный колесо застряло в грязи, пришлось толкать телегу. Сначала пытались вдвоем, потом выскочил откуда-то мальчонка лет двенадцати в ветхой одежке, смуглый и верткий. Вместе они освободили увязшее колесо.

– Ахмет, – с важностью сказал бойкий отрок и влез на подводу, намереваясь сопроводить их или попросту прокатиться.

– Эдуард.

– Едиль, – старик-возница поправил на киргизский лад. Он еще в начале пути придумал попутчику новое имя после безуспешных попыток выговорить настоящее.

Позже Эдуард узнал, что местные так называли великую реку Волгу. Он принял это изменение. Оттона здесь величали Атымтай или господин Баум, он рассказывал об этом в письмах.

В окно повеяло знакомым дымком. Должно, Лена растопила самовар на сосновых шишках, бересте и дубовых колышках, которые горели жарче, чем

березовые. Захотелось крепкого чаю с горстью трав, пахучего и горячего, чтобы вздрогнула кровь и быстрее побежала по венам.

– Давай чайку попьем, Ахмет.

Тот вышел, бесшумно ступая в войлочных сапогах.

У Эдуарда тоже были такие: мягкие, легкие, теплые. А еще тымак – шапка с лисьим мехом, в которой шеголял тот старик, что привез его в Верный. И войлочный колпак, и шапан с широкими рукавами, украшенный «верблюжьим следом». Так называли вышитый рисунок, который оберегал путников в дороге и сулил благополучное возвращение домой.

Дом... С того момента, когда они тянули застрявшую в жирной грязи телегу, и по сей, должно быть, последний час дом его здесь, на благодатной земле Семиречья.

На улице кто-то грянул залихватскую песню. В эти майские дни дом превратился в склеп, все ходили на цыпочках. Лену он и вовсе прогонял, потому что стоило ей приблизиться, как она начинала исходить слезами.

Песня, льющаяся в окно, напомнила Эдуарду те праздники древонасаждения, что они устраивали по весне. В такие дни он менял картуз на белый войлочный колпак, который мелькал то тут, то там меж стволов и кустов. По нему и отыскивали его среди десятков людей с лопатами, лейками и флагами с надписями «Берегите деревья», «Зеленое царство – рай земной!», «Садите деревья». Сажены карагача, дуба, вяза, березы, ясеня раздавали бесплатно, излишки позволяли взять для личных садов и огородов. Ахмет служил толмачом в беседах и гордился необычайно, что вместе они приносят пользу Верному. Поднималась молодая поросль, наполняя Эдуарда могучей радостью за то, что продолжалось дело отца и брата.

Пахнуло горным разнотравьем. Это Ахмет принес чай, напоил с ложки, да и то остужая. Никакого удовольствия. Сил хватило лишь на пару глотков. Эх, как несправедлива жизнь: разум еще ясен, а тело уже одряхлело.

– Кумыс нужен, – сказал Ахмет и растворился среди шорохов дома. Он всегда считал кобылье молоко наипервейшим лекарством от всех недугований.

Оставшись один, Эдуард вновь прикрыл глаза. Вехи жизни, большие и малые, вставали перед ним отчетливо, словно все они были пройдены вчера.

В первые дни приезда Оттон водил его по улицам, рассказывал о городе.

«Размер кварталов – сто метров, таков градостроительный шаг». И они принимались мерить ногами безымянные переулочки, которые имели тогда лишь номера. Спустя четыре года после тех прогулок городская управа дала им названия. Так, 9-я улица, на которой жил Оттон, стала Торговой, а 19-ю, где позже построили дом Эдуарда, назвали Киргизской.

«Деревянный дом с резными ставнями или побеленная хатка с соломенной крышей – тут обитают пришлые. Следом мазанка с просторным двором и без сада – значит, здесь живут местные». Они рассматривали постройки, которые составляли пестрый Верный. Кое-где у домов торчали раздетые осенью деревья, в них без труда удавалось признать персики и яблони.

«На Веригиной горе – садовые участки. Какнибуть наведаемся туда, заодно и на мельницу купца Гаврилова поглядим. Знатное сооружение!» И они шли дальше изучать город, уступая путь ослам, груженным дровами и корзинами, да лошадям, на которых сидели иной раз по два киргиза сразу.

Оттон умер внезапно. Не выдержало сердце, вспыхнуло и сгорело в пятьдесят лет. Во вверенном ему Казенном саду он разбил цветники, обустроил дорожки, заложил тутовую рошу, даже успел сделать зверинец. Публика каталась там в прогулочных колясках и разглядывала медведей, яков, маралов. Все это хозяйство в одночасье осиротело, как и семья брата, где осталась дочь Лена. Эдуард, который так и не обзавелся женой и детьми, взял на себя заботу и о Казенном саде, и об осиротевших родственниках.

А метеостанция, которую Оттон построил во дворе собственного дома! Она составляла его отдельную гордость. Когда в 1887 году случилось страшное землетрясение, Оттон успел выскочить из разрушенного дома и кинулся спасать оборудование, стоившее баснословных денег. И спас же! А через пару лет в довесок выписал себе сейсмометр.

Эдуард открыл глаза и нахмурился. Земная стихия, которую так хотел усмирить его брат, сыграла и с ним злую шутку.

В Своде правил по устройству Верного от 1870 года стоял запрет на строительство из дерева, потому что уже тогда справедливо опасались полного уничтожения лесов. Не рубить, а растить надо, все верно. Поговаривали, что Герасим Колпаковский, губернатор Семиреченской области, человек крутого нрава, мог и плетью отходить нерадивых, кто плохо за посадками ухаживал.

Но случившееся землетрясение почти полностью уничтожило город, построенный из сырца. Потому снова для строительства стали рубить деревья.

Каждый удар топора отзывался так, словно это его, Эдуарда, пилили, подламывали, выкорчевывали из земли. Напрасно он взывал не делать этого, убеждал, что вряд ли стихия обрушится вновь, грозил засухой и неурожаем, которые повлечет за собой безжалостная вырубка, но никто его не слушал. А в декабре 1910 года на очередном заседании областного правления он произнес громкую речь о сохранении лесов Семиречья. Ему аплодировали, да что там, устроили овации. Он был уверен – на сей раз его призыв услышат.

И в ту же ночь город содрогнулся, словно природа насмеялась над дерзким оратором. Произошло землетрясение, по силе превышающее прежнее. Сотни жертв, и сам он чуть не погиб, успев выскочить во двор в одном исподнем. Подхватил воспаление легких и долго потом приходил в себя и от болезни, и от жестокого опровержения такого убедительного доклада.

Но все же, невзирая на сопротивление природы, озеленение края было уже не остановить. Там, где исчезало одно дерево, появлялось два. Задолго до злополучного декабрьского выступления Эдуард ходатайствовал о том, чтобы каждый житель Семиречья посадил не менее 20 деревьев и кустарников. Он составил циркуляр, помнил его дословно: «Все усадебные места по улицам Верного должны быть обсажены деревьями нижеследующих пород: дубом, липой, кленом, ясенем, березой, карагачем или итальянскими тополями. Предоставляется право сажать и другие высокоствольные и твердые породы. Но строго запрещена посадка фруктовых деревьев разного рода, черного тополя, дающего семянный пух, и всех деревьев ивовых пород – ветлы, тала, вербы и пр.». Саженцы, как и в праздничные дни древонасаждения, выдавали бесплатно. Иной раз и нищий придет в рубище с выглядывающим сквозь дыры смуглым телом, попросит липку. В другой раз за версту шумит кибитка, набитая детьми, как стручок горошинами. И им выдавали боярышник или березу.

Далеко унесло Эдуарда в воспоминания, все-таки не счесть им числа. Но где же Ахмет? Успеют ли попрощаться? Несколько раз заглянула Леночка, приложилась губами ко лбу, проверила, дышит ли пациент. Пока дышит, пока еще не все свои вехи прошел вспять, не все вспомнил.

Оказаться бы сейчас в роще, прислониться к дубу, послушать истории, которые тот прошуршит крепкой листвой. Тогда и умирать станет и не жалко, и не страшно.

С Оттоном они заложили новые рощи и довели до ума те, что уже существовали: Алферовскую, Каскеленскую, Аксайскую, Котурбулакскую, Каменскую, Рошу плача. Последняя представляла собой беспорядочно разросшийся лесок, где стоял пункт по сбору рекрутов. Провожавшие их родственники рыдали, а невесты в знак верности любимым сажали по деревцу. Со временем там выстроили арку для встречи приезжающих в город высокочтимых гостей. В Алферовской роще, которую еще до прибытия Эдуарда разбили казаки, он сам сажал дубы и вязы, прокладывал аллеи, руководил опрыскиванием деревьев по весне. В народе даже стали называть ее рощей Баума.

Стукнула дверь, в сенях кто-то зашептался. Наверняка Ахмет вернулся с кумысом. Так и есть. Вошел, спросил с порога громко, будто вознамерился спугнуть ту, что притаилась в углу с косой и ждала.

– Кумыс свежий пить будешь?

Эдуард помотал головой, попросил:

– В сад отведи.

Ахмет потоптался с сомнением, но перечить не стал. Много лет они провели бок о бок, и хорошее повидали, и плохое. Поэтому киргиз понял просьбу, а может, понадеялся, что весенний сад придаст Эдуарду сил. Завернул в пуховое одеяло, как младенца, и понес.

Вдыхая терпкий воздух, Эдуард напоследок вбирал глазами приметы своей жизни. Вот горка из минералов, собранных собственноручно да принесенных людьми со всего Семиречья. На вершине – резная, раскрашенная цветами беседка, где подолгу он вел беседы с гостями. Но сейчас не туда, сейчас в сад. Деревья уже отцвели и теперь набирались сил, чтобы развесить на ветках плоды. Эдуард сполна отдал себя этой земле, духовито дышавшей травой и ранними цветами, но никакой горечи не испытывал, только покой.

– Из земли вышли, в землю и уйдем, – прошептал он.

Ахмет суетился, обустроивая его на кошме, застеленной стегаными одеялами. А Эдуард вернулся думами к любимой Алферовской роще. При мыслях о ней словно груз опускался на сердце. Навсегда запятнали ее, обагрили ни в чем не повинные деревья кровью. Новая власть расстреливала там неугодных, и он ничего не мог с этим поделать.

Архиерей Пимен прибыл в город осенью 1917 года. К нему вереницей потянулся народ, так как прослыл он человеком, несущим свет. Благодаря миссионерской деятельности много где побывал и многое повидал в свои неполные сорок лет. В Верном Пимен организовал народные чтения, даже создал детский духовный кружок. А через год, когда сентябрь омыл дождями и облил золотом деревья, пьяные красноармейцы убили его в Алферовской роще безо всякого суда. Будто мало им было совершенного там прежде святотатства... Глубокой ночью верующие отыскивали присыпанное листьями тело в белом подряснике, перевезли в Пушкинский сквер и предали земле возле Вознесенского собора. А на том месте, где его убили, расцвел алыми пятнами красный мох.

Пригревало солнце, перешептывались листья в кронах. О вечном, значит, о жизни. Как и сто лет назад, как и вчера, как и продолжат шептаться завтра.

– Через сто лет имя мое никто и не вспомнит. Да только все равно будут тянуться к небу те деревья, что я посадил. Веришь, Ахмет?

– Верю.

– Меня не будет, тебя не будет, а наши дубы будут шелкать желудями по головам прохожих.

Ахмет почесал затылок. Ему, как и остальным горожанам, частенько доставалось от коварных дубов.

– Шутки шутишь, значит, лучше тебе, – сделал он вывод.

В деревянном доме на пересечении улиц Киргизской и Мещанской умирал человек, почетный гражданин города Верный, который тремя месяцами ранее обрел другое название – Алма-Ата. Через сто лет здесь не останется даже могилы Эдуарда Баума, потому что пророс он корнями тысяч деревьев в семиреченскую землю, которая стала ему родной.

